
АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

“ПО ЗАКОНАМ ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ”

Основание жизни народной —
есть убеждение...

И. В. Киреевский

Во всём виноват я — не удержал книгу.

Именно в тот день зачем-то взялся наводить порядок на полках домашней библиотеки. И вот стою на лестнице-стремянке, перебираю томики, протирая их корешки и обрезы. Как, почему из рук вырвался один из них? Синий переплёт точно взмахнул крыльями, но не взлетел, а рухнул вниз.

Удивительное дело, сколько шума наделало падение этой, в общем-то не очень толстой книги. Из соседней комнаты даже прибежала жена.

— Что случилось? — увидела, подняла и, взглянув на обложку, протянула упавшую мне. Только отчего вдруг замедлилось движение руки и дрогнул голос?

— Ланщиков... Не к добру... Плохая примета...

А я лишь отмахнулся:

— Скажешь тоже!

... На следующий день во второй половине дня раздался телефонный звонок, я взял трубку.

— Да! Привет! Рад тебя слышать... Ой!.. Прими наши соболезнования... Конечно. Обязательно. Где? Во сколько? Ты только держись. Чем могу помочь? Кому ещё позвонить?.. До завтра... Мужайся.

Кладу трубку и вижу всё понимающие глаза жены.

— Анатолий Петрович? — она даже не произносит слово “умер”, и так ясно. — Я же сказала “не к добру”.

Потом выяснится, что книжка из моих рук упала именно в то время, когда кончилась “чередка окаянных дней”, отпущенных судьбой Анатолию Петровичу Ланщикову. Хотите, считайте — мистика, хотите — дело случая. Но совпало!

Нас свёл Юра Селезнёв. Я тогда пришёл в “Молодую гвардию”, и мы сидели в его кабинете заведующего редакцией “ЖЗЛ”. Только на сей раз всё было наоборот. В его редакторском кабинете редактором был я, а Юра был проштрафившимся автором. Он обещал мне написать в очередной номер “Литературы в школе” статью, но срывал сроки. Я, как мог, нажимал на него. Тут-то порог кабинета и переступил незнакомый мне человек. Селезнёв воспользовался моментом и переключил разговор. Он представил нас друг другу.

Зачем тогда Ланщиков, а это был он, пришёл к Селезнёву — не помню, врать не буду. Но в конце встречи речь зашла о том, что Анатолий Петрович и Игорь Золотусский на пару будут вести от Союза писателей семинар молодых по тем временам критиков. Ланщикова беспокоил будущий состав участников семинара. “Складывается так, что по тому, откуда и от кого приходят первые семинаристы, общая картина получается скверная. С той стороны пока молодых больше. Нужно подобрать нескольких, — сказал он, — своих и крепких ребят. Чтобы всё было на равных. Завтра от них будет зависеть будущее критики”. И Селезнёв предложил ему меня, добавив всего одно слово: “Ручаюсь!” Так судьбе стало угодно, что из селезнёвского кабинета мы с Ланщиковым вышли вместе.

На тот момент я ничего не знал о нём, а он — обо мне. Его первый вопрос был: “Москвич? Откуда родом?” Я ответил, что корни московские и саратовские, а по отцу ещё и ржевские, но родиться довелось в Хабаровске, в погранотряде Амурской речной флотилии. Потому как из семьи кадрового морского офицера. Пошутил про самого себя: “Дед — капитан первого ранга, отец — капитан третьего ранга, а я выродок — в армии “служил” всего три дня. Полная деградация, гуманитарием стал. Хотя, должен признаться, читать, писать полгода учился, живя у отца на сторожевом корабле, стоявшем на рейде в бухте Золотой Рог Владивостока”.

По его реакции понял, что моё происхождение ему очень даже глянулось. Позже от Анатолия Петровича доведётся узнать о военных корнях его самого: о суворовском училище, об офицерской службе.

А я тем временем продолжаю, что в Москву приехал из Саратова, куда наша семья переехала после демобилизации отца. Там окончил школу и филфак университета. “Любопытное совпадение, — говорю, — потому как один мой дед родом тоже из Саратовской губернии”. И слышу в ответ: “Так мы земляки”.

Кажется, именно эти три фактора: рекомендация Селезнёва, происхождение из потомственных военных и землячество — нас как-то сразу сблизили.

Буквально на другой день я продолжил знакомство — начал читать небольшой сборник статей Ланщикова “Времён возвышенная связь” и сразу понял... как говорил один из моих любимых киногероев в исполнении Леонида Быкова: “Споёмся!”

На вопрос, что такое критик, всякий знающий — с юмором, конечно, — прежде всего ответит: “Это не профессия, это состояние души”. Состояние души, какой был наделён Анатолий Петрович, не капризной и не жестокой, внемлющей доводам разума и голосу естественного чувства, стремящейся к самостоятельности и свободе от рабской зависимости в чём-либо, ему не только позволило, а просто-таки предопределило быть критиком. Спорить, доказывать, объяснять или, как ещё говорят, формировать общественное мнение. Он это делал всегда. Даже тогда, когда об общественном мнении и не заикались.

Не случайно себя и своих сверстников, чьё детство совпало с войной, он как-то назвал “спорящим поколением”. “У меня вообще создаётся такое впечатление, — признавался Ланщиков в 1980 году, — будто мы проспорили всю свою жизнь”. Мотивы, по которым то тут, то там вспыхивала жаркая, до драки, полемика, разумеется, были разные. Впрочем, и ценности при этом отстаивались спорящими, само собой, противоположные. Одни на первый план выдвигали “исповедальную” прозу, другие — “деревенскую”. Одни ратовали за прогресс, другие взывали к нравственности. Одни цитировали Хемингуэя и Кафку, другие ссылались на Глеба Успенского и Достоевского.

Так что Ланщикову, что называется, на роду было написано спорить, например, с теми, для кого слово “новаторство” оказалось высшей и чуть ли не единственной похвалой, а слово “традиционность” — синонимом отсталости и бесталанности.

Я открываю его работу середины 60-х, где он размышляет о моде и современности: “У моды свои законы этики и эстетики, а в понятие хорошее или плохое она не вкладывает никакого иного содержания, кроме как: новое и старое. Новое — хорошо уже только потому, что оно не старое, старое — плохо уже потому, что оно не новое”.

Читаю и сознаю: если уже тогда, в 60-е, он посчитал нужным бескомпромиссно обозначить, что “новое — это ещё не значит истинное”, то в представ-

лении, какое нам сегодня навязывается, будто поколение “шестидесятников” состояло исключительно из демократов и либералов, сплошь устремленных на общечеловеческие ценности, притворства ничуть не меньше, чем в былых партийных заботах коммунистов, руководствовавшихся в своих действиях не законами, а сложившейся практикой, точнее, целесообразностью, или в современных “заботах” властей предрешающих о судьбах народных.

Истинный писатель, а Ланщиков им был, уже в появлении своём непредсказуем. Он поздно пришёл в литературу. И если есть такая профессия “Родину защищать”, то, сняв офицерские погоны, он и в литературе оставался её защитником.

Он защищал её всегда:

и когда писал об этике и эстетике “исповедальной” прозы;

и когда говорил о деревне и “деревенской” прозе;

и когда показывал, что идеи Чернышевского имеют корни в глубинах морального сознания крестьянина, который никогда не считал себя рабом, в чувстве несправедливости такого положения, когда помещик, не служа государству, царю, остаётся господином;

и когда заявлял, что “не следует бить поклоны в сторону перестройки по каждому поводу, излишний словесный энтузиазм, не подкреплённый очевидным делом, как показала многолетняя история, далеко не всегда свидетельствует, говоря аккуратно, в пользу искренности намерений”; “и когда углублялся в прошлое, делая это по двум причинам: во-первых, исходя из того, что “прошлое освещает дорогу в будущее”, во-вторых, следуя своему убеждению, что “тот, кто сегодня покидает литературу и уходит в историю, по сути дела уходит на передовую”.

При этом Ланщиков, замечу, никогда не ориентировался ни на “правых”, ни на “левых”, ни на западников, ни на славянофилов, ни на диссидентов, ни на “литпартийцев”, ни на консерваторов, ни на новаторов, ни на дураков, ни на умных. Анатолий Петрович предпочитал, прочитав или выслушав любого, подумать, обмыслить и лишь затем сказать чётко и ясно: “Мы должны ориентироваться на собственную историю и извлекать из неё уроки, ибо кто контролирует прошлое, тот реально держит власть в настоящем и имеет все предпосылки сохранить её в будущем”.

В мире, где царил обилие идеологических ярлыков, обвинений и фальшиво-патетических ссылок на бессмертное наследие известных партийных классиков, где “своим” прощалось всё, “чужим” – ничего, беспартийный Анатолий Ланщиков умудрялся оставаться самим собой и отстаивать свои убеждения. Он последовательно воплощал, как заметил один из его товарищей, “устремленность к осмыслению современной литературы и жизни в свете многовековой истории, притом не в духе эффектных экскурсов в прошлое, а на основе серьёзного его изучения и понимания”.

По сути, у него не было единомышленников. Главным образом потому, что он не признавал нравственных компромиссов. Тогда как некоторые его “единомышленники” в тех или иных ситуациях считали возможным прогнуться и даже наизнанку вывернуться перед властью, дабы, войдя в неё, считалось потом сделать что-то хорошее. Только у “кормушки” они начинали чувствовать себя так хорошо, что лучшего, оказывалось, им и не надо.

Он в чём-то сходил, но всегда в чём-то расходился даже с теми, с кем шёл в одном направлении. Даже с ними он вечно умудрялся идти “не в ногу”. Вот только и друзья, и враги произносили его имя всегда с чувством: одни с уважением, другие с ненавистью, но в любом случае безразличия не было.

Здесь следует добавить...

Ланщиков не был пророком-просветителем, как Вадим Кожинов.

Он не был пунктуально-вездесущим мастером парадоксов, как Лев Аннинский.

Не был литературоведом среди критиков и критиком среди литературоведов, как Игорь Золотусский.

Не обладал талантом с улыбкой на интеллигентном лице прятать фигу в кармане, как Владимир Лакшин.

Он любил литературу, а не себя в литературе, как Михаил Лобанов.

Анатолий Петрович никогда не самоутверждался, как многие из его коллег, зато помогал утверждаться и самоутверждаться другим.

В его письме не было блеска профессионального литературного критика, способного легко и просто писать по принципу “сегодня в газете, завтра в куплете” или “чего изволите?”.

А ещё он не был, как это распространено среди литераторов, амбициозен. Это качество не наблюдалось у Ланщикова ни в 1967 году, когда он однажды не сдержался, публично выразив свою обиду за своё поколение: “Мы вот тоже уже приближаемся к 40-летнему рубежу, а нас по-прежнему продолжают величать “молодыми”; ни в середине 1980-х годов, когда заговорили, что Ланщиков превратился в лагере “консерваторов” чуть ли не в культовую фигуру.

Не был... не был... Другое важно – он был. И им двигал... Короче, он был из тех людей, кто наделён чертой, деликатно называемой азартом. Он всегда был благородным возмутителем спокойствия. Энергичным, упрямым, дерзким и своевольным.

Издательство заказывало ему книгу о Чернышевском – он соглашался и... влезал в крестьянский вопрос в России.

Власть и элита, ещё не отойдя от перестройки, затевали новую революцию (или контрреволюцию, кому как больше нравится), а Ланщиков углублялся, как он считал, в самое насущное – национальный вопрос в России.

Самая читающая страна расхватывала “на ура” повести Дарьи Донцовой и Юрия Полякова, а для Ланщикова в это время приоритетом становился разбор фальсификаций о Второй мировой войне.

Следуя пушкинскому “в образовании быть с веком наравне”, критик Ланщиков постоянно искал ответы на такие вечные и всегда современные вопросы: “Кто виноват?”, “Что делать?” и “Будет ли существовать Россия?” Он так жил!

Он искал свой человеческий путь, идя дорогами Петра Первого, Пушкина и Гоголя, Герцена и Чернышевского, Сталина и Гитлера, Шукшина и Астафьева.

Он искал если не единомышленников, то хотя бы собеседников, но и их находил, увы, не всегда. И оттого любой мог заметить налёт грусти, сопровождавшей его по жизни даже в минуты, когда он чувствовал себя счастливым.

Сегодня можно услышать, что семинар молодых критиков Анатолия Ланщикова, несколько лет собиравшийся в ЦДЛ, а затем продолживший работу на его квартире, стал символом несгибаемости в деле просветительства.

Что касается просветительства... Должен заметить, что в реальной нашей семинарской жизни Анатолий Петрович особо никого и не учил. Да и трудно было подумать, что собравшиеся полтора десятка семинаристов, большинство из которых уже немало за тридцать, откроют рты и станут внимать и учиться. Каждый приходил сам учить других.

Каково это было попасть “на зуб” семинаристам Ланщикова, однажды испытал на себе Лев Аннинский. Я никогда не видел Льва Александровича таким убитым и буквально раздавленным, каким он выглядел после анализа своих работ, сделанного Володей Куницыным, и двух-трёх часов перекрёстного разговора с “молодыми” критиками.

Учить нас брался Игорь Золотусский. Слегка по-барски он указывал на неудачные фразы в очередной работе, вынесенной на общее обсуждение, говорил о необходимости выбора нужного слова... Ну так среди нас был Володя Куницын – барич ещё почище Игоря Петровича. А за спинами Вадима Дементьева, в котором уже тогда чувствовался зав. сектором художественной литературы отдела культуры ЦК КПСС, и Саши Михайлова стояли их отцы, довольно значимые фигуры в критике и, что немаловажно, в Союзе писателей. Лёня Асанов, тоже сын писателя, очень начитанный и возросший в атмосфере творчества, заведовавший отделом в издательстве “Современник”, и его антипод, “разночинец” Володя Бондаренко, вечный полемист, раскручивавший в ту пору в критике кампанию по “оформлению” в качестве литературного явления “прозы сорокалетних”. Саша Казинцев – с хитрой улыбкой внимающий всем, во все времена бывший себе на уме. Два молчуна: Саша Неверов и Женя Шкловский. Самый молодой, может, именно потому ершистый и занозистый Серёжа Куняев, готовый, кажется, забодать Золотусского после любого слова, сказанного поперёк. Лена Стрельцова, для которой её Вампи-

лов имел отношение не столько к литературе, сколько к театру. Слава Педенко, у которого газетная рутина в “Литературной России” отбивала, похоже, всякое желание учиться. Марина Борщевская, работавшая тогда в “Юности”, о которой ни тогда, ни позже мы кроме этого ничего больше не знали. И автор этих строк. О себе позволю тут в качестве характеристики привести слова автографа, написанные на одной из книг, подаренных Анатолием Петровичем: “Александру Разумихину – самому колючему “студийцу” – с пожеланием светлых дум и добрых дел. Дружески – А. Ланщиков”.

На семинаре всё было куда проще и прозаичней. Прямого воздействия на наше сознание Ланщиков избегал. Зато он не прочь был заняться нашим воспитанием. Воспитывал всем, что у него было – образом мыслей, манерой поведения, отношением к делу, отношением к каждому из нас. Показывал, как надо “держаться удар”, когда бьют; как драться, когда схлестнулся в споре, и при этом сознавать, во имя чего? На какой стороне ты бьёшься: за народное или за элитарное? И мы видели, осознавали, что будь ты хоть самым известным, опытным критиком, мастером в своём деле, напиши ты хоть сотни рецензий и статей, выпусти десятки книг – всё равно: берясь за новую работу, каждый раз перед тобой неизвестность: что из этого выйдет? Причём с первого слова, как правило, ты начинаешь “с нуля”, будто только ещё учишься писать. Слово впервые переступил порог и попал в новый для тебя и малознакомый тебе мир... Мир иных жизней и иных мыслей – отличных от твоих.

А теперь о “символе несгибаемости”. Признаюсь, многих из вчерашних семинаристов сегодня вряд ли вообще можно назвать критиками. Начну с того, что не все просто дожили до наших дней. Раньше своего “наставника” покинули сей мир Асанов и Педенко. “Переквалифицировались в управдомы”, ушли кто куда: в прозу, литературоведение, искусствоведение, в чиновники, на редакторскую работу Шкловский, Стрельцова, Куницын, Михайлов, Неверов и я. Впрочем, так ли важно, сколько студийцев сохранило верность критическому цеху? Остались “три богатыря”: Бондаренко, Казинцев (ушедший потом в политическую публицистику, но сделавший имя себе именно в критике), Куняев. Можно сказать, немного. Больше того, уверен, что эти трое всё равно стали бы критиками, чьи имена на слуху, даже не доведись им несколько лет ходить на семинарские встречи к Ланщикову (упоминаю только его, так как, смею думать, к одному Золотусскому они бы никогда и не пришли). Насколько я знаю, не всё из того, что они писали, он безоговорочно принимал. Но одно его радовало – споры не заглохли, было кому “драться”.

Последнее время мы иногда перезванивались, не могу сказать, что часто. Виделись и того реже. Как-то мне на глаза попала, года через четыре после её выхода в свет, одна из последних его журнальных статей о классике – “Горе от ума” как зеркало русской жизни”. Я зашёл к нему, чтобы уговорить написать в серию, какую я в ту пору как редактор задумал и реализовывал в одном из издательств, небольшую книжку о “Горе от ума”.

Ему было одиноко, и короткая, как я предполагал, встреча обернулась многочасовым разговором. Оказалось, что совершенно случайно я “попал в точку”. Анатолий Петрович всю жизнь – это его слова – мечтал написать о русской драме, да вот всё как-то не складывалось. Он загорелся предложением и согласился расширить журнальную публикацию о “Горе от ума” и написать ещё две главы: про “Недоросль” и “Вишнёвый сад”. В итоге даже родился заголовок будущей книги “Три века – три шедевра русской драматургии”. “Я напишу, обязательно напишу, только бы глаза позволили...” – не знаю, кого больше, меня или себя убеждал он.

Желая хоть чем-то порадовать его, я подарил специально принесённые два номера “Москвы” с моим романом. Но признался, что в последнее время помимо прозы неожиданно для себя обратился к литературоведению, и рассказал о выходящей в свет работе “Радости и горести счастливой жизни в России. Новый взгляд на “Войну и мир” Л. Толстого. Триптих”. Ланщиков улыбнулся и достал свою книжку “О пользе праздного чтения”, нашёл нужную страницу, отчеркнул абзац и сказал: “Читай вслух”. Я прочёл подчёркнутое им место: “А если говорить серьёзно, то новое прочтение, осознание Толстого должно идти прежде всего через литературную критику”.

На прощание он сказал: “Саша, спасибо тебе за твою преданность русской литературе”. Анатолий Петрович, подчеркну, отношение к русской лите-

ратуре всегда ставил выше личных отношений. И хотя это уже была ненастная для него пора, когда он фактически отошёл и от литературных баталий, и от политики, которой отдал несколько лет своей жизни, а значит, настало время, когда смолк домашний телефон и “дорогие друзья и ученики” уже не донимали, как раньше, визитами – он поблагодарил не за приход, не за память о нём и даже не за поступившее предложение, а лишь за преданность литературе.

На первой же странице последней подаренной им книги “О пользе праздного чтения (литературные заметки в ненастную эпоху)” есть фраза, сказанная им в беседе с журналистом газеты “Литературная Россия”: “Всё зависит от времени и от обстоятельств”. В день, когда из моих рук упал синий томик, на обложке которого золотым тиснением было отпечатано “Анатолий Ланщиков. Вопросы и время”, оборвалось отведённое ему судьбой время и истаяли для него вопросы, на которые он всю жизнь искал ответы. Обстоятельства сложились так, что заветная мечта написать о шедеврах русской драматургии так и не осуществилась. Поздно, надо покаяться, я к нему пришёл.

Горько оттого, что “чувство пути”, которое он некогда ощущал в себе, обернулось для него чувством страшного одиночества в последние годы. Но “история, – писал он, – развивается по законам высшей справедливости”. И хочется думать, что справедливость не миновала его там, куда он ушёл от нас.

